

Лекция 4 Научное знание и здравый смысл

К традиционному знанию примыкает особый тип знания, которое вырабатывается *обыденным сознанием*. Оно «записано» на естественном бытовом языке, хранится обычно в виде расхожих выражений и штампов, умозаключения делаются в виде коротких цепочек с упрощенной логикой. Это знание систематизируется и совершенствуется в рамках *здорового смысла*, более развитой и строгой части обыденного сознания.

Обобщая опыт и закрепляя его в традиционных суждениях, здравый смысл консервативен. Он не настроен на выработку блестящих, оригинальных решений, но надежно предохраняет против *наихудших* решений. Этот консерватизм и осмотрительность и ставятся в вину здоровому смыслу.

Действительно, здравый смысл может подавлять дух новаторства, он слишком *уважает историю*. Уайтхед под таким углом зрения сравнивает древних египтян и греков. В культуре Египта было очень велико почтение к истории и очень развит здравый смысл. По мнению Уайтхеда, именно из-за этого «им не удалось обобщить свои геометрические познания, и потому они упустили шанс стать основателями современной цивилизации. Избыток здравого смысла имеет свои недостатки. Греки со своими туманными обобщениями всегда оставались детьми, что оказалось весьма кстати для современного мира. Панический страх заблуждений означает смерть для прогресса, а любовь к истине — его гарантию».

Возрождение, приняв за идеал этот «греческий» тип мышления (в противовес «египетскому»), принижало значение консервативного сознания и здравого смысла. Интеллектуалы Возрождения первыми провозгласили ценность *неопределенности* и отвергли «цензуру» опыта и традиции.

Однако нетрудно видеть, что в рамках здравого смысла добывается, систематизируется и распространяется самый большой массив знания, которым пользуется человечество. Этот массив вступает в непрерывное взаимодействие с другими массивами знания и перекрывается с ними. При этом наблюдаются и синергический, кооперативный эффект, и конфликты.

Знание, вырабатываемое здоровым смыслом, находится в сложных отношениях с *научным знанием*. В реальной жизни люди не имеют времени, чтобы делать сложные многоступенчатые умозаключения по большинству вопросов. Они пользуются *здравым смыслом*. Это — инструмент рационального сознания, который, однако, действует иначе, нежели научная рациональность. Он служит главным подспорьем логическим рассуждениям и умозаключениям.

Но с момента Научной революции в среде высокообразованных людей здравый смысл стал цениться невысоко — куда ниже, чем развитые в науке приемы теоретического знания. При обсуждении когнитивной структуры «общества знания» здравый смысл, как правило, вообще не упоминается. На деле речь идет об интеллектуальном инструменте, ни как не менее важном, чем научное мышление. Более того, само научное знание становится социально значимой силой только при наличии массовой поддержки здравого смысла.

Теоретическое научное знание может привести к блестящему, наилучшему решению, но часто ведет к полному провалу — если из-за недостатка средств (информации, времени и пр.) человек привлек негодную *для данного случая* теорию. Поэтому в реальности оба массива знания и оба способа добывать его дополняют друг друга. И когда научное мышление стало теснить и принижать здравый смысл, в его защиту выступили философы разных направлений (например, такие как А. Бергсон и А. Грамши).

И все же доминирующей линией в онаученной части культуры Нового времени было третирование здравого смысла не просто как упрощенного способа познания, но и как источника *ложного* знания. Как пишет З. Бауман, «для Спинозы единственное знание,

достойное этого имени, есть знание твердое, абсолютное... Спиноза разделял идеи на четкие категории (не оставляя места для "среднего случая") — такие, которые образуют знание, и ложные. Последним безоговорочно отказывалось в какой-либо ценности, и они характеризовались чисто отрицательно — через отсутствие знания».

По мнению Баумана, ведущие философы и ученые-мыслители эпохи становления современной науки были едины в этом мнении. Он пишет, опираясь на рассуждения Декарта: «Долг философии, который Кант взялся установить, состоял в "разрушении иллюзий, берущих свое начало в ложных понятиях, какие бы заветные надежды и ценные ожидания ни были разрушены их объяснением". В такой философии "мнения совершенно недопустимы"... Декарт бы охотно с этим согласился: "Человек, который ставит целью развитие своих знаний выше обыденного уровня, должен стыдиться использования в качестве повода для сомнений форм речи, придуманных простонародьем".

И интуиция, и дедукция, систематически развернутые философом, «есть наиболее твердые пути знания, и ум не должен допускать других. Все другое должно быть отвергнуто как чреватое ошибками и опасностями... Мы отвергаем все подобное чисто вероятное знание и полагаем себе правилом доверять лишь тому, что вполне известно и не может быть поставлено под сомнение»...

Все это вместе очерчивает то, что Ричард Рорти назвал «основополагающей философией», обвинив Канта, Декарта и Локка в том, что они совместно навязали эту модель последующим двум столетиям философской истории».

В новом обществоведении, которое формировалось в парадигме Научной революции, здравый смысл отрицался как *антипод* рационального сознания идеального индивида, как продукт местных условий, предопределяющих групповую идентичность той или иной «общины». Рационализм Научной революции следовал идеалу универсализма и видел в особенностях местных культур фильтр, отделяющий здравый смысл от достоверного знания.

Бауман продолжает: «Во-первых, социология взяла на себя критику здравого смысла. Во-вторых, она взялась за конструирование схем социальной жизни, относительно которых можно было бы эффективно выявлять отклонения, недозволённые формы поведения и все такое, что с системной точки зрения выступало как проявление социального беспорядка».

В когнитивном плане обществоведение, как философия общества, и обществоведение, как инструмент власти, совпадали в своем отрицании здравого смысла как низового массового знания «о себе».

«Их задачи, — писал Бауман, — совпадали в том, что касается осуждения, отрицания и лишения легитимности всего "чисто опытного" — спонтанных, самодельных, автономных проявлений человеческого сознания и самосознания. Они неотвратимо вели к отрицанию человеческой способности достичь адекватного знания о себе самом (или, скорее, они квалифицировали всякое знание о себе, в силу самого факта, что это знание о себе, как неадекватное). Так же, как Церковь должна была относиться к своей пастве как к сборищу грешников, модернистские социальные науки должны были относиться к своим объектам как к невеждам».

Если на первом этапе институционализации науки ее идеологи делали упор на *общедоступности* научного знания, то по мере роста престижа и социального статуса ученых стали высказываться совершенно противоположные утверждения. Так, Джон Гершель¹⁴ писал вначале: «Наука есть знание *всех*, расположенное в таком порядке и по такому методу, которые делают это знание доступным для каждого». В более поздних работах он, напротив, подчеркивает, что здравый смысл не совпадает с научным знанием, и научное мышление требует отказа от многих мыслительных привычек здравого смысла.

Исходя из этих представлений модерна, резко отрицательную позицию по отношению к здравому смыслу занял Маркс. В системе общественного сознания обыденное сознание у него определенно предстает как *ложное*. В программном труде

Маркса, написанном совместно с Энгельсом («Немецкая идеология»), сказано: «Люди до сих пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих, о том, что они есть или чем они должны быть. Согласно своим представлениям о боге, о том, что является образцом человека, и т. д. они строили свои отношения. Порождения их головы стали господствовать над ними. Они, творцы, склонились перед своими творениями. Освободим же их от иллюзий, идей, догматов, от воображаемых существ, под игом которых они изнывают. Поднимем восстание против этого господства мыслей».

Таким образом, программа Маркса декларирована как «восстание против господства мыслей», порожденных обыденным сознанием. Согласно представлениям Маркса, знание, порожденное в рамках здравого смысла, не обладало способностью к развитию — оно лишь следовало за материальным бытием как его отражение. Фактически отрицался сам статус здравого смысла как принадлежащего к системе знания. Представления здравого смысла якобы не могли меняться под воздействием их собственного развития как знания, путем анализа причинноследственных связей, приложения меры и логики.

Эти установки модерна в отношении здравого смысла были приняты и провозвестниками постмодернизма. Для них здравый смысл был носителем устойчивых мировоззренческих позиций («истин»), коллективно принятых и оформленных традицией. Это было несовместимо с идеей неопределенности бытия, ситуативности его оценок. Философ-экзистенциалист Л. Шестов в своей работе «Апофеоз беспочвенности» прямо заявляет, что «человек волен так же часто менять свое "мировоззрение" как ботинки или перчатки». Для него неприемлемо то соединение знания и *понимания*, которого ищет здравый смысл, он считает эти категории несовместимыми. Он — принципиальный сторонник «производства неопределенности» и потому противник принятых суждений: «Во всем, на каждом шагу, при случае и без всякого случая, основательно и неосновательно следует осмеивать наиболее принятые суждения и высказывать парадоксы. А там — видно будет».

Напротив, в среде левой интеллигенции, близкой к народникам и левым кадетам, здравый смысл признавался как источник знания, который был одним из корней современной науки. В.И. Вернадский писал в 1888 году: «Масса народная обладает известной возможностью вырабатывать известные знания, понимать явления — она, как целое и живое, обладает своей сильной и чудной поэзией, своими законами, обычаями и своими знаниями... Этой работой достигается известное общественное знание, выражающееся в иных законах, иных обычаях, в иных идеалах... Я вижу, как из работы отдельных лиц, опирающихся и исходящих постоянно из познанного массами, выработалось огромное, подавляющее здание науки».

На первых этапах советского строя обществоведение, во многом еще «стихийное», в большой мере опиралось на здравый смысл и традиционное знание. Однако, начиная с 1960-х годов, в советском обществоведении стало превалировать отношение к здоровому смыслу, следующее установкам западных идеологов позитивной науки и Маркса.

М.К. Мамардашвили подчеркивает, что даже рационализированное, но не «уполномоченное», сознание человека не обладает способностью «ясного сознания его положения» и его связи с действительностью. Он пишет: «Как постоянно показывает Маркс, основная зависимость и "точка роста" рационализированных косвенных образований в культуре состоят в том, что именно превращенное сознание, стихийно порожденное общественным устройством, разрабатывается — уже *a posteriori* и специально — идеологическими уполномоченными господствующего при этом устройстве класса. Оно является мыслительным материалом и духовным горизонтом особого идеологического сословия, которое и создает официальную, а тем самым и господствующую в обществе идеологию класса».

На практике эта установка усилила пренебрежение общественным мнением как всего лишь проявлением «ложного сознания». Опираясь на эти положения, «идеологические уполномоченные» истмата во время перестройки стали принципиально

отвергать рациональные доводы, исходящие из повседневного опыта людей. Авторы канонического учебника исторического материализма В.Ж. Келле и М.Я. Ковальзон писали: «Поверхностные, основанные на здравом смысле высказывания обладают немалой притягательной силой, ибо создают видимость соответствия непосредственной действительности, реальным интересам сегодняшней практики. Научные же истины всегда парадоксальны, если к ним подходить с меркой повседневного опыта. Особенно опасны так называемые "рациональные доводы", исходящие из такого опыта, скажем, попытки обосновать хозяйственное использование Байкала, поворот на юг северных рек, строительство огромных ирригационных систем и т. п.».

При этом невозможно было и слова сказать об абсурдности их доводов: из каких парадоксальных научных истин следует, что недопустимо «хозяйственное использование Байкала» или «строительство огромных ирригационных систем»? Ведь это просто глупость! Да и рождались все эти большие проекты именно в научно-исследовательских институтах (прежде всего в Академии наук СССР), а философски обосновывали их профессоры исторического материализма.

В результате, все точки зрения, которые вырабатывались вне установленной иерархии власти, игнорировались — более или менее демонстративно. После ликвидации советских общественных норм это пренебрежение стало не просто демонстративным, но и нарочито наглым.

В условиях кризиса, когда рушатся догмы и стереотипы, подрываются нормы строго логического мышления и происходит хаотизация общественного сознания, здравый смысл с его консерватизмом и простыми однозначными понятиями начинает играть исключительно важную стабилизирующую роль. Он становится одной из главных линий обороны против наступающей *беспочвенности*.

Такой период мы переживаем сейчас и в России.

Художественное знание

Очень коротко скажем о знании, систематизированном и «записанном» в художественных образах. Оно действует на духовный мир человека в плоскости, соединяющей воображение, эмоциональную сферу и рациональное мышление.

На исходе Средневековья художественное знание соединяли с зарождающейся наукой глубокие связи. В Средние века в число математических наук в университетах наряду с арифметикой, геометрией и астрономией входила *музыка*. Лютня была «и излюбленным инструментом певцов, и инструментом ученых, отвечавшим требованиям точных математических расчетов, с помощью которых постигалась природа музыкального звука». Мерой для оценки расчетов была *эстетическая* категория — красота мелодических созвучий. Из сочетаний звуков делались теоретические выводы.

Плодотворным для открытия научного метода был спор о строении музыки, в котором принял активное участие отец Галилео Галилея, музыкант и композитор Винченцо Галилей. Во второй половине XIV века вышел трактат Николая Орема «О соизмеримости и несоизмеримости движений неба». В нем автор изложил проблему в форме сна, в котором он просит Аполлона разрешить его сомнения. Аполлон поручил Музам и Наукам высказать свои соображения. Вопрос стоял принципиально — автор вложил в уста Гермеса такие слова: «Ведать музыку — не что иное как знать порядок всех вещей».

Арифметика считала, что все движения неба *соизмеримы*, Геометрия возражала. Автор трактата принадлежал к течению, которое отстаивало мнение, что иррациональная пропорция «изгнана из движений неба, производящих мелодические созвучия». Теоретики нового течения считали, что права Геометрия, так что присутствие иррациональных пропорций в звуках (диссонанса) придает музыке особую яркость и

красоту.

Этот трактат положил начало спору, который длился полтора века и в ходе которого было высказано много методологически важных для науки идей. Этот спор, в который через отца был вовлечен Галилео, как считают историки, существенно повлиял на становление его как методолога. Для нас важно то, что музыка, ставшая важной частью культуры и общественной жизни, оказалась тесно связана с научным мышлением и научным типом обсуждения расчетов и выводов. Так научное знание становилось частью культуры.¹⁵

Совершенно необходимым элементом всей системы знания является знание, с древних времен накопленное в особой отрасли «духовного производства» — *литературе*. В принципе, с самого зарождения систематизированного знания и рефлексии над ним (философии) литературный текст был способом фиксации и передачи этого знания, а создание такого текста — важным этапом познавательного процесса. Эта сторона литературного творчества не утратила своего значения и в современной науке.

Так, историки науки отмечают глубинную связь *литературного* метода Достоевского с методологией *науки*, причем постклассической.¹⁶ Эйнштейн писал: «Достоевский дает мне больше, чем любой другой мыслитель, больше, чем Гаусс». Художественные модели Достоевского были *рационалистическими*, их сквозной темой было противоречивое развитие мысли. Метод же построения модели был *экспериментальным*. Он помещал своих героев в обстановку критического эксперимента (*experimentum crucis*). Историки говорят, что Достоевский осуществил синтез научного и художественного методов. Более того, художественные экспериментальные модели Достоевского обладают вполне научной строгостью, так что И.П. Павлов сказал: «Его слово, его ощущения — факт». Действительно, отложившиеся в литературе слова и ощущения — важная часть *реальности* общества, и создание этой реальности сопряжено с порождением и движением особого знания.

У Достоевского этот синтез выражен необычайно ярко, «модельно», но он присутствует и в творчестве многих других писателей и поэтов, во множестве вариаций. Можно даже сказать, что уже в позднее Средневековье этот синтез стал необходимым качеством художественного произведения, которое было культурной предпосылкой для возникновения в XVI веке того, что мы называем современным научным методом.

Методология *мысленного эксперимента* была, можно сказать, выработана в ходе становления литературы, порожденной книгопечатанием. Эта литература привела к возникновению нового типа чтения как *диалога* читателя с текстом, и в процессе этого диалога воображение строило пространство мысленного эксперимента.

Эйнштейн сказал по этому поводу: «Воображение важнее знания, ибо знание ограничено, воображение же охватывает все на свете, стимулирует прогресс... Строго говоря, воображение — это реальный фактор в научном исследовании».

Воображение играет главную роль в художественном восприятии мира. Но в то же время это и способность человека, необходимая для *мыслительного* постижения реальности. В уме мы оперируем теми образами реальности, которые нам производит наше воображение. Уже Аристотель писал, что когда ум осознает какую-то вещь, он должен построить ее в воображении. Исходя из этих «образов вещей» мы вырабатываем и нашу линию поведения. Таким образом, значительная часть запаса знания, исходя из которого действует человек, создана при участии воображения и записана в художественных образах.

Магия живописи основана на том, что мы видим пейзаж, изображенный на картине, не так, как мы увидели бы его в природе. Мы знаем, что картина — это всего лишь реальный холст, немного красок на нем и деревянная рама. Это — устройство, которое помогает нам создать иной, воображаемый мир, прекраснее реального. Мир, воображаемый с помощью картины, может быть усложненным — в нем самом может быть и картина, и зеркало. Вехой в формировании современной западной цивилизации с

ее разделением субъекта и объекта, была картина Веласкеса «Менины»: на ней художник, пишущий картину, отражается в зеркале.

Очень важное для рационального знания понятие «картина мира» возникло благодаря живописи Возрождения. Тогда была изобретена перспектива, и человек впервые увидел мир как *картину*, как бы находясь *вне его*. Это ощущение способствовало важному мировоззренческому сдвигу — разделению Человека и Природы как субъекта и объекта.

На пути соединения знания и художественного образа совершенно особое место занимает изобретение *карты* — важная веха в развитии культуры. Карта как способ «свертывания» и соединения разнородной информации обладает не просто огромной, почти мистической эффективностью. Она обладает не вполне еще объясненным свойством — «вступать в диалог» с человеком. Карта — инструмент творчества, так же, как картина талантливого художника, которую зритель «додумывает», дополняет своим знанием и чувством, становясь соавтором художника. Она мобилизует пласты неявного знания работающего с нею человека.

В то же время карта мобилизует подсознание. Как мутное и потрескавшееся волшебное зеркало, карта открывает все новые и новые черты образа по мере того, как в нее вглядывается человек. Ведь карта — не отражение видимой реальности, как, например, кадр аэрофотосъемки. Это визуальное выражение *представления* о реальности, переработанного соответственно той или иной теории.

Огромный массив знания записан в образах *драматургии*. Театральная сцена обладает колдовской силой — это как окно в воображаемый мир. Поэтому театр по своему воздействию на сознание занимает совершенно исключительное место. Можно сказать, что театр стоит у истоков современной европейской цивилизации, это был инструмент «превращения племени в общество». В отличие от шизофреника нормальный человек отдает себе отчет в том, что образы его воображения не есть реальность. Именно потому они и приобретают для человека особый глубокий смысл — они как бы выявляют сущность вещей и событий. Эти образы «реальнее» фактов, они — сверхреальность. Когда человек вживается в них, с ним может произойти озарение — ему кажется, что он проникает в суть вещей. Если же озарение оказывается коллективным, возникает сильный массовый порыв, по своей силе сравнимый или превышающий действие рационального знания.

В своем учении о театре Аристотель утверждает, что очищающее действие трагедии происходит именно в воображении — через взаимодействие эффектов страха и сострадания.¹⁷ Для достижения этих эффектов необходимо, чтобы создаваемый перед зрителем мир был условным (художественным), *надреальным*. Если бы он был совершенно похож на реальность, в пределе — сливался бы со сценами страданий, которые людям доводится видеть в обыденной жизни, то эффект ограничивался бы обычными чувствами конкретного страха или сострадания.

В театре, как и в неподвижной картине, воображаемый мир может быть усложнен. Таким образом, театр становится лабораторией для проведения мысленных экспериментов. Гамлет, манипулируя воображением, заставил раскрыться мать и Клавдия, попросив актеров сыграть пьесу, изображающую цареубийство, — а зрители видели в Англии XVI века этот двойной театр. Так эти зрители становились современными европейцами.

В «информационном обществе» возникли новые технологические средства, позволяющие охватить интенсивным воздействием спектакля миллионы людей одновременно. Возникли и организации, способные ставить невероятные ранее по масштабам политические спектакли — и в виде массовых действий и зрелищ, и в виде кровавых провокаций. Появились новые виды искусства, сильно действующие на психику (например, *перформанс*, превращение куска обыденной реальности в спектакль),

Все это вместе означало переход в новую эру — постмодерн, с совершенно новыми,

непривычными этическими и эстетическими нормами, новыми концепциями общественного сознания. Постмодернизм — это радикальный отказ от норм Просвещения, от классической логики, от рационализма и понятия рациональности вообще. Это стиль, в котором «все дозволено», «апофеоз беспочвенности». Здесь нет понятия истины, а есть лишь суждения, конструирующие любое множество реальностей.

Речь идет о важном сдвиге в культуре, о сознательном стирании грани между жизнью и спектаклем, о придании самой жизни черт карнавала, условности и зыбкости. Сегодня эти культурологические открытия делают социальной технологией. Этот переход накладывается на более широкий фон *антимодерна* — отрицания норм рационального сознания, норм Просвещения. Это постоянные разрывы непрерывности. Действия с огромным «перебором», которых никак не ожидаешь. Художественными средствами создается культурный шок, который эффективно используется в политике, исходя из научного знания об обществе в этом аномальном состоянии. Можно вспомнить танковый расстрел Дома Советов в 1993 году или атаку на небоскребы в Нью-Йорке в 2001 году.

Одним из тех, кто заложил основы нового *обществоведения*, включающего художественное воображение в систему знания, был Грамши. Недаром его имя называют в одном ряду с именами М. Бахтина в культурологии, М. Фуко и других новаторов — в философии. Грамши — один из первых философов, которые почувствовали новую научную картину мира и перенесли ее главный дух в науку об обществе.

В российском обществоведении идеологическая сила художественных образов не была верно оценена (точнее, сами обществоведы мыслили как художники и не замечали проблемы). Россия стала читающей страной, и уже с середины XIX века возникло глубокое противоречие — русский человек читал художественную книгу, как текст Откровения. Это был кризис модернизации, отраженный в культуре, — люди *верили* книге и принимали художественные модели реальности за достоверное знание.

Художественное восприятие настолько сильно и ярко, что часто отделяется от рационального мышления, а иногда подавляет и здравый смысл. Вспомним горькое предположение В.В. Розанова: «Приказ № 1, превративший одиннадцатью строками одиннадцатимиллионную русскую армию в труху и сор, не подействовал бы на нее и даже не был бы вовсе понят ею, если бы уже 3/4 века к нему не подготавливала вся русская литература... Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература».

А как было искажено литературой восприятие истории России уже в XX веке! Прочитав в школе «Муму», школьники создают в своем воображении страшный и тотальный образ крепостного права. Надо было бы дать в том же учебнике маленькую справку: ведь число крепостных среди крестьян в России лишь на короткий срок достигло половины, а уже в 1830 году составляло лишь 37%. Право продавать крестьян без земли было дано помещикам лишь в 1767 году и отменено уже в 1802 году. Мы же в массе своей думали, что помещики направо и налево распродавали крестьян, да еще старались разделить мужа и жену. Но это же были случаи исключительные!

Обществоведение не вносило корректив в сообщения художественной литературы, даже не задумывалось об этой обязанности. Здесь тоже важное отличие от западного обществоведения. Ну, изобразил какой-нибудь Стендаль тупого офицера — не придет же из-за этого французам в голову возненавидеть офицерство и армию. А русский читатель из условного мира художественных образов выхватит Скалозуба и переносит его на землю, замещает им реального офицера. А уж если прочтет «После бала», то возненавидит всех полковников.

В.В. Розанов упрекнул русскую литературу за *безответственность*. Но писатели XIX века еще не знали взрывной силы слова в русской культуре. Вспомним подготовку к войне в Чечне в 1994 году. Как тогда раскручивали Приставкина с его повестью. Ей требовали верить — ведь он так видел мир своими детскими глазами, ведь он сам видел слезинку чеченского ребенка! Как быстро сняли по ней фильм — надо было взрастить Дудаева. Когда уже бомбили Чечню, Приставкин хвастался в западной прессе: «Мой

фильм "Ночевала тучка золотая" Дудаев смотрел, сидя один в зале, — и по щекам его текли слезы». Приставкин — солдат холодной войны, писал он не детские воспоминания, а создавал из полуправды ложный образ, который читатель еще многократно дополнил своим воображением. Цель была: от слезинки ребенка — через слезинку Дудаева — к кровавым слезам целых народов.

Мы могли убедиться, что модели общественных явлений, представленные в художественных образах, составляют очень большую часть аргументации и рассуждений в обществоведении. Роман Достоевского «Бесы», книжка Бунина «Окаянные дни», фантастика Оруэлла или М. Булгакова во время перестройки давались идеологами прямо как научные труды, излагающие хорошо установленные истины.

Опыт последних тридцати лет обязывает нас достоверно, по-инженерному, встроить художественное знание в систему социодинамики всех видов знания, необходимых как для понимания, так и для воздействия на общественные процессы.

Неявное знание

Хотя наука с самого начала декларировала свой абсолютно рациональный характер и полную формализуемость всех своих утверждений (т. е. возможность однозначно и ясно их выразить), любой мало-мальски знакомый с научной практикой человек знает, что это миф. Это справедливо для всех наук и для обществоведения. Рациональное и формализуемое знание составляет лишь видимую часть айсберга тех «культурных ресурсов», которыми пользуется ученый. Интуиция, верования, метафоры и искусство играют в его работе огромную роль, одинаково важную как в мыслительном процессе, так и в процедурах эксперимента или наблюдения.

Гений органического синтеза Р.Б. Вудворд планировал парадоксальные пути получения невероятно сложных соединений, так что рациональное объяснение его схем находилось лишь потом, после успешного завершения работы. Эмилю Фишеру непонятным образом удавалось кристаллизовать (и, значит, очищать) такие соединения углеводов, которые «не хотели» кристаллизоваться ни в одной другой лаборатории мира, так что среди химиков ходили легенды о магических свойствах бороды Фишера, служившей затравкой кристаллизации.

Великий русский ученый М.С. Цвет, создатель хроматографии (одного из важнейших методов современной химии и биологии), изготавливал хроматографические колонки, эффективность которых и сегодня достигается с трудом, хотя за 100 лет развития хроматографии разработаны сильные теоретические и расчетные методы. Он «чувствовал», как вещества передвигаются по колонке, «знал», что в ней происходит. Его методические формулировки были поразительно верными, но всего изложить он не сумел. Через полвека немецкий химик и историк науки писал: «Обладая творческим воображением, Цвет 40 лет назад создал поразительно ясное представление о тех основных процессах, на которых основана современная хроматография».

Описаны попытки ряда лабораторий воспроизвести удачную разработку лазера на углекислом газе. Оказалось, что ученые, создавшие работающую установку, не могли точно описать в публикациях или даже объяснить коллегам свои действия. Точные копии их установки не работали. Лишь в ходе длительных личных контактов удавалось передать неявное, *неформализуемое* знание. С этим сталкивался любой исследователь-практик.

Важным источником неявного и даже неформализуемого знания в науке является «мышечное мышление», развитое у многих ученых, — способность *ощущать* себя объектом исследования. Так, Эйнштейн говорил, что старается «почувствовать», как ощущает себя луч света, пронизывающий пространство. Уже затем, на основании этих мышечных ощущений он искал способ формализовать систему в физических понятиях (это нередкое в любой творческой работе явление называют «сначала нахожу, потом

ищу»). Этот тип знания, не поддающийся строгому изложению, плохо изучен; однако очень многие ученые подчеркивают его большое значение. О нем они чаще всего рассказывают только своим близким друзьям.

В одном очерке по истории науки (А. Кестлера) сказано: «Есть популярное представление, согласно которому ученые приходят к открытию, размышляя в строгих, рациональных, точных терминах. Многочисленные свидетельства указывают, что ничего подобного не происходит. Приведу один пример: В 1945 году в Америке Жак Адамар организовал в национальном масштабе опрос выдающихся математиков по поводу их методов работы. Результаты показали, что все они, за исключением двух, не мыслят ни в словесных выражениях, ни в алгебраических символах, но ссылаются на визуальный, смутный, расплывчатый образ.

Эйнштейн был среди тех, кто ответил на анкету так: "Слова языка, написанные или произнесенные, кажется, не играют никакой роли в механизме мышления, который полагается на более или менее ясные визуальные образы и некоторые образы мускульного типа. Мне кажется, то, что вы называете полным сознанием, есть ограниченный в пределах случай, который никогда не может быть законченным до конца, что сознание — это узкое явление"».

Для обозначения и осмысления явлений ученые «дома», в своей лаборатории, пользуются нестрогой терминологией из внеучебной практики, понятиями, основанными на здравом смысле. Уже отсюда вытекает возможность расхождения во мнениях ученых, принадлежащих к разным группам.

Особым типом неявного знания может считаться та совокупность «не вполне научных» представлений и верований, которую некоторые историки и философы науки называют *научной идеологией*. Этот тип связанного с наукой знания не является иррациональным, но он и не вполне рационально-научный. Обычно он распознается именно как научная идеология лишь задним числом, а на первых порах кажется плохо формализованной научной концепцией (типичным примером научной идеологии считают *атомизм*, давший впоследствии начало ряду строгих научных направлений). Как говорят, главное в научной идеологии состоит не в том, что она открыто высказывает, а в том, что она *замалчивает*.

Что же происходит, когда ученому приходится выступать в качестве эксперта по проблеме, запас «явного» знания о которой недостаточен? Он не только может, но и обязан использовать весь доступный для него запас *неявного* знания. Но поскольку это знание неформализуемо, ход его рассуждений не может быть подвергнут рациональному независимому контролю. Строго говоря, эти рассуждения не соответствуют критериям научности, согласно которым исследование должно быть проведено так, чтобы давать возможность воспроизвести его другим, независимым от автора ученым.

Это — одно из противоречий, присущих творческой деятельности. В уже цитированном очерке сказано: «По свидетельству тех оригинальных мыслителей, которые взяли на себя заботы проследить за своими методами работы, *вербализованное* мышление и сознание в целом играет только подчиненную роль в короткой, решающей фазе творческого акта как такового. Их фактически единодушное подчеркивание спонтанности интуиции и предчувствий бессознательного происхождения, которые они затрудняются объяснить, показывают нам, что роль строго рациональных и словесных процессов в научном открытии была широко переоценена, начиная с эпохи Просвещения. В творческом процессе всегда существует довольно значительный элемент иррационального, не только в искусстве (где мы готовы признать его), но и в точных науках тоже.

Ученый, который, столкнувшись с трудной проблемой, отступает от точного вербализованного мышления к смутному образу, казалось, следует совету Вудворта: «Мы должны часто стараться не говорить, чтобы ясно мыслить». Язык может стать преградой между мыслителем и реальностью: творчество часто начинается тогда, когда кончается

язык, т. е. когда его субъект отступает к дословесному уровню умственной активности».

В обществоведении нередко приходится сознательно сохранять в состоянии неявного и то знание, которое вполне можно было бы сделать явным и формализованным. Было отмечено, что существование общества в принципе невозможно без наличия некоторых зон неопределенности — *пространства незнания*. Вторжение науки в эти зоны чревато резким нарушением установившихся в социальном порядке равновесий.

С этим связано, например, беспокойство начавшимся внедрением техники раннего определения пола будущего ребенка, которое в некоторых культурах приводит к заметному сокращению численности новорожденных девочек (по последним данным, это становится угрожающей проблемой для Китая).

Вот красноречивая иллюстрация, которую дает социолог Я. Эзраи: «Любопытный пример политического табу в области демографической статистики представляет Ливан, политическая система которого основана на деликатном равновесии между христианским и мусульманским населением. Здесь в течение десятилетий откладывалось проведение переписи населения, поскольку обнародование с научной достоверностью образа социальной реальности, несовместимого с фикцией равновесия между религиозными сектами, могло бы иметь разрушительные последствия для политической системы».

Трагический опыт Ливана показывает, что это *нежелание знать* отнюдь не было абсурдным. К каким результатам привела даже краткосрочная попытка реализации безумной доктрины *полной гласности* («прозрачности»), которую мы видели у себя в стране в конце 80-х годов XX века.

Приложение

Приведем несколько замечаний Анри Бергсона о здравом смысле. В 1895 году он говорил перед студентами — победителями университетского конкурса:

«Повседневная жизнь требует от каждого из нас решений столь же ясных, сколь быстрых. Всякий значимый поступок завершает собою длинную цепочку доводов и условий, а затем раскрывается в своих следствиях, ставящих нас в такую же зависимость от него, в какой находился он от нас. Однако обычно он не признает ни колебаний, ни промедлений; нужно принять решение, поняв целое и не учитывая всех деталей. Тогда-то мы и взываем к здравому смыслу, чтобы устранить сомнения и преодолеть преграду. Итак, возможно, что здравый смысл в практической жизни — то же, что гений в науках и искусстве...»

Сближаясь с инстинктом быстротой решений и непосредственностью природы, здравый смысл противостоит ему разнообразием методов, гибкостью формы и тем ревнивым надзором, который он над нами устанавливает, оберегая нас от интеллектуального автоматизма. Он сходен с наукой своими поисками реального и упорством в стремлении не отступать от фактов, но отличен от нее родом истины, которой добивается; ибо он направлен не к универсальной истине, как наука, но к истине сегодняшнего дня...

Я вижу в здравом смысле внутреннюю энергию интеллекта, который постоянно одолевает себя, устраняя уже готовые идеи и освобождая место новым, и с неослабевающим вниманием следует реальности. Я вижу нем также интеллектуальный свет от морального горения, верность ей, сформированных чувством справедливости, наконец, выпрямленный характером дух... Посмотрите, как решает он великие философские проблемы, и вы увидите, что его решение социально полезно, оно поясняет формулировку сути вопроса и благоприятствует действию, кажется, что в спекулятивной области здравый смысл вызывает к воле, в практической — к разуму».

А. Бергсон. Здравый смысл и классическое образование. — «Вопросы философии». 1990. № 1.

Антонио Грамши причислял здравый смысл к разновидности рационального мышления. Он писал в «Тюремных тетрадах»:

«В чем же именно заключается ценность того, что принято называть обыденным сознанием" или "здравым смыслом"? Не только в том, что обыденное сознание, пусть даже не признавая того открыто, пользуется принципом причинности, но и в гораздо более ограниченном по своему значению факте — в том, что обыденное сознание в ряде суждений устанавливает ясную, простую и доступную причину, не позволяя никаким метафизическим, псевдоглубокомысленным, псевдоученым и т. д. ухищрениям и премудростям совлечь себя с пути. "Обыденное сознание" не могли не превозносить в XVII и XVIII веках, когда люди стали восставать против принципа авторитета, представленного Библией и Аристотелем; в самом деле, люди открыли, что в «обыденном сознании» имеется известная доза "экспериментализма" и непосредственного, пусть даже эмпирического и ограниченного, наблюдения действительности. В этом и поныне продолжают видеть ценность обыденного сознания, Хотя положение изменилось и реальная ценность сегодняшнего "обыденного сознания" значительно снизилась».

А. Грамши. Тюремные тетради. Часть I. М.: Изд-во политической литературы. 1991. С. 48.

Лев Шестов требует освобождения от всяких «догм», от устоявшихся обыденных («анонимных») представлений. Для него неприемлемо то соединение знания и понимания, которого ищет здравый смысл, он считает эти категории несовместимыми:

«Стремление *понять* людей, жизнь и мир мешает нам *узнать* все это. Ибо *познать* и *понять* — два понятия, имеющие не только неодинаковое, но прямо противоположное значение, хотя их часто употребляют как равнозначные, чуть ли не как синонимы. Мы считаем, что поняли какое-нибудь новое явление, когда включили его в связь прочих, прежде известных. И т. к. все наши умственные стремления сводятся к тому, чтобы понять мир, то мы отказываемся познавать многое, что не укладывается на плоскости современного мировоззрения... А потому перестанем огорчаться разногласиями наших суждений и пожелаем, чтоб в будущем их было как можно больше. Истины нет — остается предположить, что она в переменчивых человеческих вкусах».

Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. С. 174.